

УДК 821.161. 1-3 «19»

**Достоевский в социально-философском подтексте сказа Л. Леонова
«Деяния Азлазивона»**

Борисова Л.М., Борисов П.Б.

*Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского,
Симферополь, Республика Крым
borisova@crimea.com pasha281291@inbox.ru*

На примере одного из ранних произведений Л. Леонова в статье доказывается оппозиционность молодого автора идеологическим основам советской литературы. В качестве шифра леоновской тайнописи рассматриваются идеи и образы «Записок из Мертвого дома» Достоевского. Связь с Достоевским обнаруживается у Леонова и на жанровом уровне, отмечается склонность обоих авторов к житийному канону. Мотивы и образы «Записок из мертвого дома» позволяют заметить в «Деяниях Азлазивона» признаки лагерной прозы.

Ключевые слова: советская литература, тайнопись, подтекст, кризисное житие, лагерная проза, Л. Леонов, Достоевский.

Постановка проблемы. В литературоведении последних лет, в отличие от перестроечного периода, творчество Л. Леонова 1920—30-х годов уже не рассматривается как эталон соцреализма. Как показано в работах М.М. Голубкова, С.И. Сухих, Захара Прилепина [см. также: 3], писатель только имитирует нормативы соцреализма. Глубиной и серьезностью философской проблематики Леонов выламывается из соцреалистической системы. Молодой автор приспособился к господствовавшей в обществе советской фразеологии, но при этом сравнительно свободно выражал свои (порой весьма смелые, даже опальные, с точки зрения большевистской идеологии) мысли благодаря особому методу шифров. Позднее он сам признавался исследователям о наличии в его романах скрытой, второй композиции, несущей особую смысловую нагрузку [12, с. 389], о том, что главные идеи собраны у него на уровне «пятой горизонтали» [6, с. 427]. Ключом к его шифрам чаще всего являются различные религиозно-философские учения и произведения художников-мыслителей, среди которых первым по значимости для Леонова всегда был Достоевский.

О влиянии на молодого автора Достоевского писали уже первые критики леоновской прозы. За долгие годы ее изучения появился не один десяток трудов на эту тему, но при этом она осталась далеко не исчерпанной. Многие параллели морально-этического, религиозно-философского характера, ключевые для обоих авторов, требуют дополнительного осмысления. «Деяния Азлазивона» (1921), одно из самых первых произведений Леонова, увидело свет последним, уже после смерти писателя, и пока имеет скромную исследовательскую историю. Стилистически («Деяния Азлазивона» — сказ) оно скорее свидетельствует о творческом родстве с Лесковым и, казалось бы, не дает оснований подозревать влияние Достоевского. Тем не менее, как будет показано дальше, уже здесь можно найти свидетельства диалога автора с особенно почитаемым им классиком.

Цель данной работы — указать на жанровые соответствия и переклички жанрового, религиозно-этического и философского порядка в «Записках из Мертвого дома» Достоевского и «Деяниях Азлазивона» Леонова.

В свое время леоновский сказ был запрещен цензурой. В начале 1920-х годов «в обществе, хотя и объявившем себя безбожным, невозможно было скрыть основной авторский посыл: надежда на спасение покаявшихся и страх вечных мучений грешника. Лукавый прием писателя не сработал — рассказ признали идеологически опасным. У Леонова проблема спаслись ли покаявшиеся оборачивается вопросом — а были ли покаявшиеся?» [10] — пишет В.П. Польшковская. Действительно, в «Деяниях Азлазивона» лукавства достаточно. Даже простой пересказ сюжета позволяет обнаружить здесь криптограмму. История разбойника Ипата, убившего купца с женой и после этого вспомнившего о Законе, — более чем прозрачный намек на убийство, совершенное в доме купца Ипатьева, необходимое большевикам для того, чтобы узаконить свою власть. Так, между строк Леонов впервые недвусмысленно назвал новую власть разбойничьей. Позже мотив воровства, самозванства, разбоя, стал у него сюжетно и идейно организующим в романе «Вор». «Воровской», — читаем у Даля, — «стар. мошенничий, а вообще преступный, противузаконный» [4, с. 243]. В этой связи нельзя не вспомнить и прозвище Лжедмитрия — «тушинский вор».

Ударив купцову жену ножом в сердце, Ипат расколол на ее груди образок Нифонта Новгородского. «Распался его взгляд надвое, и обе закосившиеся половинки того взгляда нелюбо на Ипата глянули». Ночью герой увидел святого во сне, расценил это как знак свыше и решил уйти в лесную чащу на покаяние. За ним без долгих раздумий послушно последовала и вся его разбойничья ватага в двадцать шесть человек. Игумен Андроник (Трубачев) пишет по этому поводу: «Предмет сказа — обращение разбойника к покаянию — традиционен для христианской письменности. Различные произведения обыкновенно запечатлевали благополучный исход — разбойник каялся, жил благочестиво и становился святым» [11, с. 99]. Кроме Нифонта Новгородского, известного своим противостоянием смутам на Руси («попалитель смущающих», говорит о нем автор), сказ заставляет вспомнить и Нифонта Кипрского: в юности он предавался разгульной жизни, а после обращения вел многолетнюю борьбу с бесами. Жанровая модель кризисного жития — первое, что в «Деяниях Азлазивона» связывает Леонова с автором «Преступления и наказания». Эта модель составляет основу целого ряда произведений Достоевского. Когда в финале романа он говорит о Соне и Раскольникове: «Их воскресила любовь», то, конечно, имеет в виду ту любовь, о которой пишет апостол Павел. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» [1: 1 Кор. 13:4-7]. В героях Достоевского явственно просматриваются житийные, восходящие к евангельским, архетипы блудницы и разбойника, воскрешенных Христовой любовью. Леонов поначалу тоже склонялся к традиционному завершению сюжета, но в окончательной редакции счел для своих разбойников спасение невозможным и вместо жития создал антижитие. (Примечательно, что роман «Вор» также существует у писателя в двух редакциях, и финал второй отличается более жесткой оценкой «падшего героя» — см. 13)

Полна иронии сама история этого коллективного, по призыву Ипата, пострига. «Мне теперича дорога под чёрный кафтырь, ухожу завтра. Кто со мной — становись сюда. Кто в мир — бери хламья, сколько в подъём возьмешь, забывай Ипата, незабытое забывай!.. Не удивленье ли! — все двадцать пять туда стали, куда Ипат указывал. Знали Ипата, любили как отца: с Ипатом ночь не в ночь, с Ипатом огонь не в огонь, а кафтырем какому не любо прошлые дела прикрыть?» [9, с. 85]. Важнейшее

решение, которое может быть только глубоко личным, разбойники принимают скопом, без долгих раздумий, по принципу: грабить — так грабить, молиться — так молиться. Сама интонация сказа выдает в данном случае бездумную удаль, похожую на ту, которую Достоевский отмечал в каторге у некоторых заключенных. Об одном из них он писал: «Ему даже показалось, что звание каторжного только еще развязало ему руки на еще большие подлости и пакости. «Каторжник, так уж каторжник и есть; коли каторжник, стало быть, уж можно подличать, и не стыдно» [5, с. 56].

Отстроив скит, приготовившись к постригу, леоновские герои нашли иерея, подходящего им по своим нравственным качествам: «Дурень он и пьянец великий, но чином удостоен... Молитвы его злы: — Да-ай, Господи, чтоб дочка у Васьки Гузова рабёночка б от заезжева молодца понесла... — По-одай ты мне, Господи, приход вроде Коноксы, только побогаче. Да чтоб протопопица-т как кулебячка была!.. — Подай, Господи, отцу Кондрату сломление ноги...» [9, с. 85]. «Замечательные» монахи очень решительно, но не очень любезно пригласили его в свою обитель: «Кинулись, закатали в тулуп, зыкнули на ухо — «заорёшь — пришибём» — вдарили по пристяжкам» [9, с. 85]. Правда, тут же Ипат и посулил горе-священнику: «Ты распоп, у мене ж поп будешь, службу нам будешь водить. Маши себе кадилом, а я тебя спасу» [9, с. 85].

При постриге леоновский Ипат получил новое имя — Сысой, надо полагать, в честь Сисоя Великого — святого, который верил, что искренне раскаявшийся будет прощен Богом и может перемениться в три дня. Но тот же святой убеждал ученика, возжелавшего священничества, не искать сана выше своего достоинства. А когда тот не послушался и отправился добиваться своего в город, на него стали нападать бесы. Леоновских героев постигла та же участь. Полчища бесов день и ночь осаждают сомнительную обитель и в конце концов обращают её в прах и дым. Напомнив о Сисое Великом, Леонов между строк намекнул и на недостойность новоявленных «монахов», и на отсутствие у них покаяния, поскольку никакой перемены в Ипатовской братии не произошло. Она и в скиту сохранила атмосферу воровского притона, не испытывает потребности в благословении, не нуждается в наставничестве и, как прежде в мирской жизни, продолжает своевольничать в духовной. К подлинным монахам эти «новообращенные» имеют такое же отношение, как лихой рубака Митька Векшин, герой «Вора», к настоящему офицерству. Митька не может украсть у своего противника «умную блестинку» в глазу, ипатовцам неведомы смирение и любовь.

Каторга, место действия «Записок из Мертвого дома», и скит, площадка, на которой разворачиваются события леоновского сказа, — противоположные по своему духовному смыслу топосы. Пенитенциарное учреждение (хотя «пенитенциарный» в переводе с латыни и означает «покаяние») предназначено для насильственной изоляции и наказания преступника. Жизнь монастыря определяется доброй волей ушедших от мира людей, и ее основу составляет молитва, общение с Богом. У Достоевского и Леонова эти топосы парадоксальным образом меняются местами. Острог фактически становится монастырем для автобиографического повествователя «Записок из Мертвого дома». Он признается, что «пересматривал всю прошлую жизнь, судил себя один неумолимо и строго и даже в иной час благословлял судьбу за то, что она послала ... это уединение, без которого не состоялись бы ни этот суд над собой, ни этот строгий пересмотр прежней жизни» [5, с. 220]. Для героев Леонова, наоборот, скит становится острогом.

По ходу событий Ипат-Сысой все больше укрепляется в ранге религиозного начальника, диктатора и тирана. Своих «подчиненных» он «мотивирует» пустыми, не отражающими никакого духовного опыта словесными формулами: «Души-то в вас как завшивели! То невыплаканные слёзы в вас гниют. Жальте сердце скорбью и отойдёт смутитель и позабудет путь к вам!..» [9, с. 88]. Разбойник-настоятель мало

чем отличается от того невоздержанного, вечно пьяного и раздраженного плац-майора, которого описывает Достоевский. Этот воспитатель особенно прославился своим самодурством, «он врывается в острог даже иногда по ночам, а если замечал, что арестант спит на левом боку или навзничь, то наутро его наказывал: «Спи, дескать, на правом боку, как я приказал» [5, с. 28]. По отношению к каторжанам он занимал такую позицию: «На шалости есть наказания <...>, а с мошенниками-арестантами строгость и непрерывное, буквальное исполнение закона — вот и все, что требуется!.. В законах сказано, чего же больше?» [5, с. 28]. Рассказчик замечает на сей счет: «Эти бездарные исполнители закона решительно не понимают, да и не в состоянии понять, что одно буквальное исполнение его, без смысла, без понимания духа его, прямо ведет к беспорядкам, да и никогда к другому не приводило» [5, с. 28].

Леоновский Ипат-Сысой, как тюремный надзиратель, тупо исполняет закон. Получив порцию злой критики, «опять выходили от Сыся гусиным рядом все двадцать два, а стыд им новые силы подавал. Пуще прежнего и яростней били тогда о пол самодельные кафтыри. Во полунощях на скиту стон стоял» [9, с. 88]. Автор показывает замкнутый круг бессмысленного самобичевания, в котором застряли все более и более раздражающиеся монахи. Между тем пороки, скрытые под внешне строгим соблюдением религиозного закона, по-прежнему определяют их поведение и умонастроения. То же внутреннее ожесточение отмечал Достоевский у большинства обитателей острога: у них было наружное смирение, но никаких признаков стыда и раскаяния. Писатель находит объяснение этому состоянию: «живого человека нельзя сделать трупом» [5, с. 44].

Возродить падшего может только любовь. И в этом отношении каторжанам Достоевского повезло все же больше, чем пастве самозваного Сыся. Среди начальства Мертвого дома встречались и живые люди. Один из них при всей своей требовательности, «был ласков с арестантами, чуть не до нежностей». Он не мог пройти мимо арестанта, не поздоровавшись, не сказав ему ласкового слова, не пошутив с ним. В поведении этого начальника не было и тени формальной, высокомерной учтивости, напротив – искренность и простота. Этот естественный, по выражению Достоевского, «инстинктивный демократизм» вызывал у подопечных ответную волну доверия. Они называли его «орлом» и даже «отцом», но в отношении к этому человеку не было непочтительности, фамильярности. Все лицо арестанта расцветало, когда он встречался с командиром, и, «снявши шапку, он уже смотрел улыбаясь, когда тот подходил к нему» [5, с. 215]. Герои Леонова пропадают в скиту без духовного наставника. Ипат-Сысой лишен даже обычного человеческого милосердия, не говоря уже о духовных дарах. Он может только на виду у всех замертво припасть к полу в «покаянной муке». Достоевскому в Мертвом доме тоже приходилось наблюдать таких молитвенников. «Исай Фомич как бы нарочно рисовался перед нами и щеголял своими обрядами. То вдруг закроет руками голову и начинает читать навзрыд. Рыдания усиливаются, и он в изнеможении и чуть не с воем склоняет на книгу свою голову...» [5, с. 95]. Именно о такой молитве в Евангелии говорится: «Когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми» [1: Мф. 6:5,16]. Религиозным экстазам Исая Фомича Достоевский противопоставляет запомнившиеся ему с детства молитвы простых крестьян: они «молились смиренно, ревностно, земно и с каким-то полным сознанием своей униженности» [5, с. 176].

В русской литературе «Записки из мертвого дома» положили начало лагерной прозе. Н. М. Ядринцев в труде «Русская община в тюрьме и ссылке», «Л. Якубович-Мельшин в книге «В мире отверженных», Н. Белокопский в рассказах «По тюрьмам и этапам», В. Короленко в очерках «Содержающая», Л. Толстой в романе «Воскресение»,

А. Чехов в книге «Остров Сахалин» учитывали художественный опыт Достоевского» [7, с. 299]. Как видим, на Леонова он тоже оказал влияние.

Достоевский был уверен, что «остроги и система насильных работ не исправляют преступника» и даже «знаменитая келейная система достигает только ложной, обманчивой, наружной цели» [5, с. 15]. «Келейная система» в переводе на современный язык означает одиночное заключение. Накладываясь на образный строй леоновского сказа, слова Достоевского получают оттенок трагической иронии: при большевиках у алчущего и жаждущего правды не было возможности запереться от мира в монашеской келье, но зато сколько угодно шансов оказаться в камере-одиночке. Тюремь и лагеря стали главным средством воспитания нового человека. Диапазон лагерной прозы в советское время расширился, она, как показывают исследования [8], существовала не только в чистом виде, но и в виде романа воспитания, и в форме производственного романа. Леонов не только в соответствующей главе «Пирамиды» в 1990-е годы, но уже в 1930 году в «Соти» обнажил лагерную суть большевистского производства. Сотьстрой похож на Мертвый дом: те же унылые бараки, тот же подневольный труд. [подробнее об этом см. 2].

В производственном романе конца 1920-х—30-х годов, с его культом жертвы, идеалом революционной аскезы, получили наиболее законченное воплощение принципы соцреализма, пришедшего на смену революционно-романтической прозе начала 1920-х. Анализ переключек Леонова с Достоевским в «Деяниях Азлазивона» позволяет сделать вывод о неприятии молодым автором обеих столь важных для официальной советской литературы тенденций. Не приемля воровство, Леонов отрицает как воровскую романтику, так и воровскую аскезу.

Список литературы

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М., 1217 с.
 2. Борисова Л.М., Сергеева Е.С. О религиозно-философском подтексте романа Л. Леонова «Соть» // Вопросы русской литературы. — Симферополь, 2010. — № 18(75). — С. 50—57.
 3. Борисова Л.М. Тайнопись в повести Л. Леонова «Саранча» / Л.М. Борисова // Русская речь. — М., 2011. — №1. — С. 39—45.
 4. Даль Владимир. Толковый словарь живого великорусского языка / Владимир Даль // Т. 1. — М.: Русский язык, 1981. — 699 с.
 5. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. / [Текст подгот. и примеч. сост. И. Д. Якубович и др.]. Т. 4: Записки из Мертвого дома. - Л.: Наука. Ленингр. отд., 1972. - 326 с.
 6. Из творческого наследия русских писателей XX века: М. Шолохов, А. Платонов, Л. Леонов. — Спб.: Наука, 1995. — 500 с.
 7. Кандеева А. Г. Послесловие // Достоевский Ф. М. Записки из Мертвого дома. — Омск, 1982. — С. 295-299.
 8. Лахузен Томас. Соцреалистический роман воспитания, или провал дисциплинарного общества / Томас Лахузен // Соцреалистический канон. — СПб.: Академический проект, 2000. — С. 841— 852.
 9. Леонов Л.М. Деяния Азлазивона / Предисл., публ. Н.Л. Леоновой. Послесл. В.П. Польшковской // Наше наследие — Москва, 2001. — № 58. - С. 84-95.
- Польшковская В.П. Так спаслись ли покаявшиеся?: [О рассказе "Деяния Азлазивона" Л. М. Леонова] / Польшковская В. П. // Наше наследие — Москва, 2001. - N 58. — С. 96-97.

Распутин В. Г. О рассказе Л. Леонова «Деяния Азлазивона» / Валентин Распутин, Владимир Библихин, игумен Андроник (Трубачев) // Наше наследие – Москва, 2001. — № 58. — С. 98—99.

Старцева А.М. Особенности композиции романов Л. Леонова / А.М. Старцева // Вопросы советской литературы.— Т. 8. — М.;Л.: Изд-во АН СССР, 1959. — М. 367—401.

10. Хрулев В.И. Два эпилога романа Л. Леонова «Вор»: диалог исследователя с писателем / В.И. Хрулев // Русская литература XIX—XX вв: поэтика мотива и аспекты литературного анализа. — Новосибирск: СО РАН, 2004. — С. 50—79.

Борисова Л. М., Борисов П. Б. Достоевський у соціально-філософському підтексті оповіді Л. Леонова «Діяння Азлазівона» / Л. М. Борисова, П. Б. Борисов // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». – 2014. – Т. 27 (66). № 1. Ч.1 – С.324-329

На прикладі одного з ранніх творів Л. Леонова в статті доводиться опозиційність молодого автора ідеологічним засадам радянської літератури. В якості шифру леоновського тайнопису розглядаються ідеї та образи «Записок з мертвого дому» Достоевського. Зв'язок з Достоевським виявляється у Леонова і на жанровому рівні, відзначається схильність обох авторів до житійного канону. Мотиви і образи «Записок з мертвого дому» дозволяють помітити в «Діяннях Азлазівона» ознаки табірної прози.

Ключові слова: радянська література, тайнопис, підтекст, кризове життя, табірна проза, Л. Леонов, Достоевський.

Borisova L. M., Borisov P. B. Dostoyevsky in social and philosophical implication of L. Leonov's tale Azlazivon's Deeds // Scientific Notes of Taurida V. I. Vernadsky National University. – Series: Philology. Social communications. – 2014. – Vol. 27 (66). No 1.1 – P.324-329

Through the analyses of an early L. Leonov's work the authors argue that the young writer stood in opposition to the ideological principles of the Soviet literature. It is proved by cryptograms and various allusions to the life in the post-revolutionary Russia which can be found in the text. The ideas and images from The House of the Dead by Dostoyevsky are considered as a cipher to Leonov's cryptogram. Association with Dostoyevsky reveals itself in Leonov's works on genre level because both authors show inclination to such genre as Saints' lives. The Lives which Leonov mentions allow to demonstrate author's ironical position in the description of penitent robbers. The motifs and images from House of the Dead (such as prison superiors' tyranny, dependent work) allow to see the traces of camp prose in Azlazivon's Deeds.

Key words: Soviet literature, cryptogram, implication, crisis life, camp prose, L. Leonov, Dostoyevsky.

Поступила в редакцію 08.05.2014 г.